

Благодарю за поддержку друзей
Ани Багратуни-Агаронян и Наринэ Абгарян

Я стоял на парадном балконе пятого этажа. Наш бабулилизинский дом построили до Отечественной войны. Он был пятиэтажный, из красного туфа, и что самое примечательное — он стоит до сих пор. Вокруг снесли все, что могли снести. Притом сносили и при СССР, и после. Около него были дома одноэтажные, которые охранялись государством, — последние остатки старого Еревана. Предполагалось, что они должны сохраниться как памятник, но как только Армения получила независимость, и их снесли. Вместо них там появились многоэтажки — как символ прогресса в никуда. Наш дом, который был самым большим и возвышался на улице Свердлова среди малюток, вдруг сам стал ветхим домишкой сталинского периода. Совсем затерялся. Потом на нем выросла огромная мансарда — гигантский жировик на голове когда-то красивого дома.

А тогда у нас был маленький всячий балкончик. Он смотрел на улицу.

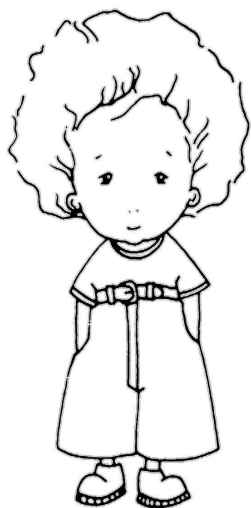
Мне было лет пять. Передо мной был кусочек старого Еревана. Маленькие, невзрачные постройки, они переплетались улочками, и во многих домах не было даже канализации. Зато вокруг них росли тутовые и ореховые деревья. А во дворах были беседки из виноградных лоз.

Я особо не помню подробностей, но поскольку в городе, когда я уже был взрослым, еще оставались такие районы, могу предположить, как это было. Дворы были общие, тутовые деревья были общие, виноград был общий; вода, которая текла из крана в середине двора, была общая, и даже дети были общие. Мелких только под конец дня разбирали каждый своего и загоняли по домам. Такой была старая жизнь Еревана. А наш дом стоял как символ советской власти, которая пришла, чтобы построить новую жизнь. Под новой жизнью подразумевалось снести старый город, провести всем воду, газ, срубить тутовые деревья и виноградники, заасфальтировать дворы.

Я стоял на балконе, и прямо передо мной экскаватор рушил эту старую жизнь. Людям, которые жили ею, дали новые квартиры. Кто-то этому был рад: больше не придется ходить в общий туалет. А кто-то жаловался, что в квартире не сможет держать кур.

Экскаватор загребал старые стены с желтыми обоями, поднималась пыль. Когда-то за этими стенами пряталась жизнь. Рождались дети. Бабушки купали младенцев в медном тазу после первого крика. На столах стояли гробы с покойниками, эти же столы накрывались для свадеб. Мужчины выходили покурить на деревянные балконы,

чтобы жены «не воняли». Бабульки взбивали шерсть в общем дворе и проклинали детей, если в кучу шерсти влетал мяч. На проводах сидели вороны и какали на нарды, которые мужики забыли убрать с вечера. Кошки удирали от мальчишек, чтобы их не мучили. Собаки на привязи хрипели на чужих. Мальчишки подглядывали за девками, ко-



которые выходили на веранду. Девоч лупили отцы за то, что поздно пришли домой. Во дворах разжигали костры и заставляли молодоженов прыгать на Трндез. Поливали друг друга из ведер на Вардавар.

Матери у окон ждали сыновей с войн.

Продавали воду во дворах, где не было крана. Ходили мужики с точильным станком на плече, точили ножи и ножницы. Меняли орехи на старую одежду. Парни били друг другу морды из-за пустяков...

Работал советский экскаватор! С камнями вместе выгребал обломки старой, уже никому не нужной мебели. А до того срубили все деревья и виноградники.

Я ничего не понимал, не имел никакого мнения на этот счет — мне было просто интересно, как работает экскаватор. Дед Айк стоял на балконе и тоже смотрел.

— Гляди, Ёжик-джан, прям как на войне во время бомбежки.

Дед часто рассказывал про войну, и теперь я мог представить, что такое бомбежка, как рушатся дома. С грохотом. Экскаватор скрипел и ревел, как зверь, напавший на беззащитную жертву. Притом было совершенно непонятно, зачем он так свирепствует, ведь жертва вообще не защищается. Она просто стоит и ждет своей очереди. Как стадо овец за сеткой в загоне у езидов, — с одинаково испуганным взглядом.

Экскаватор был похож на однорукое чудовище. Я потом вспоминал дядю Диму. Мужа Веры Григорьевны, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Яковлевича. Близкие люди моих родителей, они жили в Москве. У дяди Димы была одна рука — как у экскаватора. Большая рука, широкая ладонь — как ковш. Он этим «ковшом» отстроил себе дачу. От второй, правой руки остался обрубок, которым он иногда, чтобы меня рассмешить, бодро вертел. Его каждый год звали в военкомат на переучет, решали: продлевать ему инвалидность или нет. Он шел туда важно, по повестке, показывал свой обрубок и с сожалением восклицал:

— Эх, блин... пока не выросла! Придется продлевать.

Человек он был русский, пьющий, но мирный, громко не говорил, не ругался при детях. Только когда его жена тетя Вера забирала у него — на компрессы — бутылку водки, в которой еще оставалось граммов тридцать, он прищуривался и говорил:

— Бога не боишься!

Потом упирался локтем в стол, обхватывал своим «ковшом» лоб... Так и сидел. Долго.

Дед Айк говорил, что на месте этих трущоб будет сад. В школе то же самое говорил Маяковский. Не знаю, как он, но дед не врал: землю выровняли. Посадили маленькие веточки, тополя. Дед говорил, вырастут красивые деревья. Бабуля Лиза хлопала себя по коленкам.

— Боже, а тебе-то что? Мы на ладан уже дышим. Сколько ты будешь жить?

Дед обычно отвечал:

— Сто лет!

Почти так и вышло, недотянул всего четыре года. Вот здесь он мне соврал.

— Сто лет... Так сколько же мне осталось? — Я доставал деда этим вопросом.

Он серьезно считал и говорил:

— Ну, Ёжик-джан, если тебе сейчас пять, значит, еще девяносто пять впереди. И чтобы прожить сто лет, тебе надо есть вареный лук. Это очень полезно.

СТО ЛЕТ

У деда был друг — Старик Артуш. Противный старикашка, ему как раз и было сто лет.

Как-то дед Айк решил мне его показать. Мы зашли в какой-то подъезд и постучали в деревянную дверь, нас встретила женщина лет пятидесяти — тогда она показалась мне старушкой. Мы вошли в комнату. Старик Артуш сидел в кресле, укрытый пледом, в комнате стоял запах мочи и вареного лука. Хозяин направил на нас свои жидкие глаза, в которых не было зрачков, и низко проскрипел что-то вроде приветствия. Тетка встала около него и предложила моему деду сесть за стол. Как выяснилось, это была жена Старика Артуша.

Сейчас думаю, что она вышла за него, когда ему было под шестьдесят, а ей — примерно двадцать. Наверное, они прожили неплохую жизнь. Дети давно выросли, разбежались. А Старик Артуш задержался на этом свете лет на тридцать. И жена все ждала, когда же это кончится. Она посвятила ему свою молодость, сама уже немо-

лодая. А он все сидел в кресле и ел вареный лук, чтобы не умереть.

Дед Айк важно поглядывал в сторону Старика Артуша и рассказывал о нем, будто о музейном экспонате. Даже не спросил его ни о чем. Наверное, тот был глухой. Показывая на него взглядом, дед говорил:

— Вот, Ёжик-джан, Артуш живет уже сто лет, и я с него беру пример. Я тоже так долго буду жить, и ты тоже — у нас в роду все долго живут. Только мои родители рано скончались. От холеры. Но сейчас советская власть, она холеру победила.

Старик Артуш нас не слушал — или не слышал. Он с трудом встал, подошел к столу. Его жена, не проронившая ни слова за все это время, принесла на блюдечке вареный лук, который дымился паром, и Артуш начал его есть. Жевать ему было нечем, и он подолгу перетирал лук стертými гладкими деснами, потом вынимал изо рта, измельчал, давил пальцами и снова посылал в розовый беззащитный разрез на лице, раньше имевший зубы.

Мы посидели еще немножко и вышли, попрощавшись с его женой, которая просто склонила голову в знак уважения. Мы шли по дороге, я был счастлив, что можно жить сто лет.

Потом, уже в сознательном возрасте, значительно сократил в рационе вареный лук.

БАБУЛЯ ЛИЗА

Бабуля Лиза часто кормила нас «гогли-могли».

Миксера тогда у нас не было, и она взбивала его вручную, ложкой в граненом стакане. Только советский граненый стакан мог выдержать остервенелый суд над яйцами, которые меняли цвет и превращались в белую жижу от бабулилизинского гогливзбивания. Ложку она держала, как фигу, между указательным и средним пальцами, и никакой современный миксер с ней бы не сравнился. Ее лицо потело, белые волосы лезли из-под черных шпилек и торчали в разные стороны, от напряжения она чуть подпрыгивала и стонала. Когда содержимое стакана становилось однородной желтовато-белой массой, она добавляла туда какао и крошила хлеб. Затем приводила себя в порядок и принималась кормить меня такой же комбинацией из ложки и пальцев, засовывая ложку-фигу мне в рот и приговаривая: «За маму, за папу, за Гагу...» Когда заканчивались близкие члены семьи, она переходила ко всем родственникам и вспоминала мертвых... вроде «а это за мою маму, за моего папу», умудряясь при этом даже прослезиться.

Кроме гогли-могли мне давали пить зпртич. Это тот же гогли, но туда бабуля Лиза добавляла еще топленое масло, и от этой жижи несло свежей блевотиной. Все это делалось с энтузиазмом и любовью, чтобы «повысить ребенку гемоглобин». Я никак не мог понять, что такое этот гемоглобин. Что именно мне надо повысить? Кстати, он, гемоглобин, повышался еще от рыбьего жира, который в меня запикивали большой столовой ложкой каждое утро. В общем, я осознавал, что гемоглобин — это нечто очень важное, и его у меня все меньше и меньше. И если он совсем иссякнет, то мама повесится, и бабуля тоже. И для того, чтобы приобрести этот проклятый гемоглобин, надо страдать, пить зпртич, что хуже, чем гогли-могли, и глотать рыбий жир, что хуже, чем гогли-могли и зпртич, вместе взятые.

В детстве я очень любил ругаться. Это было моим орально-ментальным удовольствием. Конечно, я знал, что ругаться нельзя, и при родителях вел себя прилично. В основном «грязные слова», как называла их бабуля, я говорил при ней. Она очень переживала и удивлялась, откуда я нахватался этой нечисти. Соображая, что делаю нечто, что ей не по душе, я давал волю своей фантазии и изощрялся в мате так, что у бабули Лизы поднималось давление. Бабуля никого из своих внуков не шлепала, она просто в сердцах хлопала себя по коленкам и орала:

— Божье наказание! Совсем с цепи сорвались!..

Однажды, после того как меня опять накормили какой-то гадостью, я решил отомстить! И, проглотив последнюю ложку, вытер рот рукавом и выложил весь свой арсенал грязнейшего туалетного мата. «Сексуального» я пока не знал.

Но, как ни странно, на бабулю это не произвело никакого впечатления. Она спокойно подошла к эмалированному умывальнику, сунула свой кривой подагрический палец под кран, потом глубоко окунула его в банку с красным перцем. Я наблюдал за ней и продолжал говорить гадости уже нараспев. Вот она подошла ко мне и попросила:

— Серёжик, а ну-ка, скажи «а-а-а-а».

Я разинул рот. Мне показалось, что бабуля Лиза в очередной раз хочет проверить мои гланды. Но она ловко смазала мне язык перцем. Во рту зажегся бенгальский огонь. Я начал плевать и ругаться еще хуже, более того — добавил жестикуляцию и стал иллюстрировать то, что произносил. Аффективное действие перешло все границы, и бабуле стало настолько противно, что она меня обозвала клоуном и актером погорелого театра!

Настоящему же мату меня научила наша соседка, которой было тогда лет двенадцать. Рузан.

На улице Свердлова мы жили в коммунальной квартире. Нашими соседями были тетя Софик с дочкой Рузан и сыном Арменом. Муж тети Софик постоянно сидел в тюрьме, и мы его никогда не видели, а у ее сына Армена

постоянно свисали зеленые сопли в рот. Это выглядело настолько органично, что было уже не противно. Сопли для Армена были основной пищей. В этом смысле он был самодостаточен. Сам производил, сам ел. Поскольку он все время проводил во дворе, а меня туда не пускали до первого класса, с ним мы почти не виделись. Зато его сестра была помощницей тети Софик, и мы часто играли вместе. Когда Рузан садилась делать уроки, она сажала меня к себе на колени, а я оттуда залезал под стол. Там было намного интереснее. Я заглядывал ей под юбку, по-моему, она не очень возражала. Потом я задавал вопросы касательно того, что там видел. И она меня научила ругаться матом. Но этот мат я начал использовать уже попозже, когда меня стали пускать во двор.

Однажды я решил рассказать маме, что у Рузан там, между ног, совсем не так, как у меня. Это произошло за круглым столом — кстати, он сейчас у меня на даче стоит. Так вот, за этим столом я и начал взахлеб рассказывать обо всем, чему меня научила двенадцатилетняя Рузан.

Отец уронил кусок мяса в борщ, и у него на усах повис кусочек капусты. Потом отвисла челюсть. Мама, как сова, выпучила глаза, вспорхнула с места и вылетела в коридор. Следом за ней как по команде из комнаты торпедировалась бабуля Лиза.

Из коридора коммунальной квартиры донесся мамин ор:

— Я твою маленькую шлюху под суд отдам!
Ему всего шесть лет!